

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

ИСТОРИЯ УСТИНЬИ
СОБАКИНОЙ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Галина Щербакова

**История Устиньи
Собакиной, которой не было**

«ФТМ»

Щербакова Г. Н.

История Устиньи Собакиной, которой не было /
Г. Н. Щербакова — «ФТМ»,

ISBN 5-9560-0151-8

Повести и рассказы Галины Щербаковой вновь и вновь заставляют
задуматься о превратностях судьбы...

ISBN 5-9560-0151-8

© Щербакова Г. Н.
© ФТМ

Содержание

Галина ЩЕРБАКОВА	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Галина ЩЕРБАКОВА

ОТВРАЩЕНИЕ

(История Устиньи Собакиной, которой не было)

Повесть

Теперь, чтобы приехать из Донецка в Москву, нужно пересечь границу. И она нервничала. Ее всегда пугали любые новые правила. Не могла привыкнуть, когда в их доме расколо-тили парадный вход и стало возможным выходить не в помоечный двор, а на улицу, прямо на остановку троллейбуса. Каждый раз после последней ступеньки лестницы тело ее разворачи-валось к старой заплеванной черной двери. И то сказать, не пять там лет или десять, а прожила она с черным ходом всю жизнь. Через него ее внесли в этот дом, через него она шла в школу, сюда же вернулась после университета. А тут – на тебе! Явился некто в черном пальто и белом шарфе и отделал им подъезд как конфетку, оттяпав себе за это весь второй этаж, а это – на минутку – три квартиры, то есть восемь комнат, три кухни, три ванных, три туалета, не счи-тая кладовок и прочих проходных мест. За мрамор и цветы в кадках он не взял с них ничего, но предупредил, что выгонит первую сволочь, которая оставит автограф на стене, плюнет на сверкающий пол или чиркнет ножичком в лифте. И не чиркали, между прочим. Черный вход тоже был оставлен, только пользовались им строители, доставщики мебели и прочий рабочий люд. Но этот ее поворот телом в сторону плохо освещенного, но такого привычного хода жил в ней, как жили в ней суставы и мышцы. И может, только тогда она в полной мере осознала, не умом – телом, зависимость человека от привычки, даже столь бездарной, как у нее – ходить через черную дверь. А если помножить это на миллионы людей из бараков, из халуп, вросших в землю? Людей, одетых в румынские пиджаки и цэбовские ботинки, сносу которым нету, а то, что искривлена стопа, так что, мы в войну не носили голую резину на голую пятку? О! Эта память людей, вскормленных минтаем и суповым набором, кашей из брикетов и колбасой из обрезков, разве перечислишь все, из чего мы вышли и почему у всех тело не умеет – боится, боится – привыкнуть к хорошему. Голова как бы даже понимает, сердце даже как бы радуется, а сволочь-тело требует рейтуз с начесом, войлочных сапог, чая со слоном и филе трески, исте-кающее талой грязной водой.

Ей стыдно, что она так прилеплена к этой мякоти по имени народ, ей хочется победить в себе страхи и привычки того, что сын и невестка называют «совком», но нет – не получается, и она боится таможни, боится Москвы, боится завтрашнего дня. «Оставьте мне мой черный ход», – колотится в ней такая маленькая и слабая душа, что даже стыдно, что она такая. Ей, душе, ведь полагается быть широкой, щедрой, ой-ля-ля какой. И на этом «полагается быть» она выпрямляется.

Ну, как-то так, одним словом.

Свернувшаяся калачиком женщина в поезде Донецк-Москва была существом мнитель-ным, нервическим и трусоватым, и если в первом и втором она бы вам в этом и сама при-зналась, то в третьем – ни боже мой! Как всякий нехрабрый человек, она старалась казаться отважной, и что самое смешное, в жизни так себя и вела, пряча от других и неправильные движения тела, и гневливость на изменчивую пакостность жизни, и даже трусость, отчаянно кидаясь то спасать неспасаемых, то говорить с улыбкой истину власть предержащим, да мало ли поступков несоизмеренных обстоятельствам натворила за полста лет эта худенькая малень-

кая женщина с подсиненной сединой ради Москвы и непривычным лиловатым цветом маникюра, опять же для нее.

Сейчас она сидела у окна поезда и думала о встрече с таможенниками, которые, как ей объясняли, будут шупать ее рубашки и трусы в чемодане и, возможно, станут перелистывать ее многострадальную диссертацию, которая и есть причина ее поездки и бездарных мыслей о таможене, черном входе и прочей хрени, которые настигают ее всегда в минуты паники любого качества, будь то нездоровье близких или поехавшая снизу вверх стрелка на новых колготках, или «здравствуйте» не той степени приветливости, на которую настроилась душа.

Пора ее назвать, наконец. Но я оттягиваю этот момент, ибо, как и она сама, слегка стесняюсь и робею ее имени. Я таких по жизни больше не встречала. Она такая одна, отвоеванная матерью в борьбе с мужем, который ушел из семьи из-за имени дочери. Представляете, какое это должно быть имя?

Но какова мать! Все снесла, а дочь назвала так, потому что ей приснилось счастье.

Счастье – две пары детских ножек в затоптанных сандаликах с дырочками упираются друг в друга. Девочки сидят напротив на качелях-лодочке, а мужская загорелая рука их раскачивает. Волосы то летят назад, то возвращаются на щеки, и они смеются так, что кажется, с ними смеются пыльная акация, кривой тополь, электрический столб с белыми красивыми шутовскими, из которых идет провод, смеется провод, он уносит их смех в дом, и на крыльцо выходят мамы и кричат мужчине, что нельзя раскачивать так сильно. «Можно! Можно! – отвечают девочки. – Еще, еще!»

Потом они слезают с лодочки, почему-то кидаются друг к другу и так обнимаются, что слышно, как стучат их сердчишки, такие маленькие и такие громкие.

Ах, как она ее любила, свою первую подружку! Так любят только дети.

Ее звали Рахилью.

Перед самой войной их семья уехала в Киев. Как плакали девочки, и как счастливы были родители Рахили. Киев! Столица! Рахиль будет, наконец, учиться в музыкальной школе.

Мать проснулась. Разве она помнила эти качели? Эти сандалики на полненьких ножках подружки и то, как они обнялись тогда и сердца рвались друг к другу через ситцевые сарафанички?

Это было их прощание навсегда, хотя до войны еще было шесть или семь лет. Но сейчас матери казалось, что в счастье ее сна уже было все. И война, и Бабий Яр, и то, как она плакала после войны, узнав про этот ужас, и как она себе клялась честным пионерским не забыть Рахиль, но забыла... Ни разу не вспомнила.

Она встала с кровати, ей было нехорошо, как-то стыдно за себя, живую, взрослую, и получается, неверную, тут-то и стали у нее отходить воды, бурно, будто ее надрезали. Испугалась, закричала, забыла сон. А кода после криков и ужаса ей сказали «девочка», то она уже знала, что это Рахиль к ней вернулась. Больше некому. Сон ей снился не просто так.

А год был непростой, пятьдесят третий, и евреев уже трамбовали в теплушки для долгих переездов. Сволочи-врачи хотели сгубить самого Сталина, и настроение дрожащего от справедливого гнева народа было круче действий властей. Их бы – всех! – поставить к стенке Лубянки и одним единым махом. А если уж отправлять, то не поездом, а голой ступней по замерзшей сибирской земле.

А мать возьми да назови русскую курносую деваху Рахилью. Это ж какие надо иметь мозги, и вообще и в частности, какую тайную преступную мысль надо носить в головенке, если не сложить эти простые как три рубля факты жизни!

Папочку от обиды непослушания его мнения сдернуло с места, мать выгнали с работы, и если бы не дедушка и бабушка, которые были счастливы розовой девочке с белыми кудряшками за ушками, и им было совершенно все равно, как звали внучку... Дедушка звал ее Рашенькой, а бабушка Хилечкой. Выжили. Тем более что на этот раз все так быстро и легко

кончилось. И даже было подвергнуто, опять же, народному осуждению за излишнюю ретивость.

Так русская девочка навсегда в людском понимании осталась клейменной глупым материнским сном. Отца все забыли, дедушка с бабушкой были убиты на собственном огороде, за бутылку водки, которая оказалась простой водой. От злости разочарования парни лопатами порубили стариков. На суде они рвали рубахи, мол, разве б они стали за простую воду жизни решать, они ж хорошие ребята, просто опохмел требовал решительных мер. Их родители в суде же с места тоже кричали, что мальчикам цены нет в трезвости.

Рахиль окончила филологический факультет Московского университета и хотела идти в школу, чтоб помочь жить маме, но ей предложили аспирантуру, так как ее дипломная работа «Письма Чехова как нравственное завещание двадцатому веку» получила первый приз на конкурсе чеховских работ. И хоть жить на одну учительскую зарплату было трудно, мама, гордая таким предложением дочери, строго сказала: «Иди, и думать нечего. Что мне надо эдакое, чтоб не хватало. Аспирантура – это же счастье».

Так решением мамы Рахиль осталась в Москве, с блеском защитилась, вышла замуж, родила сына, вернулась в Донецк, стала доцентом филфака, а на одно время стала и его деканом; похоронила маму, у которой инсульт случился в момент, когда она входила в троллейбус, инсульт, как выяснилось, копеечный, зато удар затылком при падении был вполне несовместим с возвращением к живым. Комнату бабушки занял сын, а потом как-то, почти через день или два, с ним поселилась птичка-невеличка с постоянно голыми и видимыми до трусов ногами, из комнаты раздавался здоровый детский смех, и Рахиль как-то спокойно, почти радостно поняла, что бежит уже по окончательной дороге, потому что все главное свершилось. Конечно, надо бы дождаться внуков. Но сигналы из этого отсека души шли слабые, как бы и не очень ей нужны были внуки. Больше щипало другое: у нее лежала почти готовая докторская, одно время только о ней и думалось, а потом все как-то заглохло. Ну, идет себе жизнь, спокойная, размеренная, зачем ей другая. А диссертация – это такая дырка в голове!

Нет, ничего ей не надо. Ей и так хорошо.

Что мы знаем про свое завтра? Ничего! О нем знает только дама-судьба, которая практически, не дыша, практически не задевая по пустякам, идет рядышком, и ты не поскользнешься, если она не захочет, но, бывает, попадешь туда, куда тебе и в дурном сне не снилось.

Можно ли было вообразить, что Украина отлепится от России и станет жить сама по себе? Что в какое-то мгновение ока русская кафедра тихонько уступит место украинской. Что будет взлет до задыхания национальной гордости? Да пожалуйста! Разве она против? Украина – ее родина, но вот что Коцюбинский и Франко круче русской классики, а вся украинская литература мудрее, старше русской, так, может, вы, хлопцы, погорячились? Нет, отвечали ей, смотрите, Рахилька, сами.

Все великое в русской литературе с украинской плодородной земли – и Гоголь, и киевлянин Булгаков, и вся Одесса – это наша, украинская, Одесса. Ну, в общем, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но пришли такие времена.

Будучи человеком деликатным, Рахиль против натиска новых идей поперек не встала, а как-то сразу заняла то скромное место, которое ей осталось. И на этом месте ей ничего не сулилось, и мысли о докторской ушли навсегда.

Вспоминался Ростов, в котором она работала несколько лет сразу вскоре после защиты кандидатской. Ей было там хорошо, но не было жилья. Обмен Донецка, где ее всегда ждала мама, на Ростов не получался. Что вы хотите получить, мадам, с вашими шахтами, которые стоят, можно сказать, в центре города? И хоть весь Донецк уже был в зелени и розах, это как-то не звучало супротив Дона-батюшки, рыба и необсуждаемой красоты Ростова. Пришлось вернуться в Донецк, к маме, которая стерегла квартиру, тосковала и в своих страданиях подустала. Время как-то неумолимо несло маму к тому троллейбусу, она этого, конечно, не знала, но

каким-то образом и знала. Между знать и не знать вообще стены нет, тонкая не видимая глазом штורочка, бывает, и шагнешь ненароком за нее и ахнешь, как же я этого не видел, а она возьми и шелохнись обратно, и ты, как потерянный, опять на поле незнания, а ведь что-то сейчас было, вот-вот было, так ясно виделось. И зналось. Неужто озарение, блин? Но это так, к слову, подобного сленга типа «блин» ни мама, ни Рахиль не употребляли и даже страдали бы, услышав его.

Рахиль вернулась в Донецк, похоронила маму и дожила до времени, когда все пошло-поехало. Мова, мова, мова... Конечно, она русская, знала украинский язык, но языком ее ума, ее природы, ее чувств он не был. Университету же – оказалось! – нужны были доктора, университет пыжился стать большим и важным. Кандидаты пеклись, как пончики в жаровне. С докторами было хуже. Ладно, пусть! Пусть – решили – будет и русская тема, у этой Рахили уже все, кажется, готово. Попросили только связать Чехова с Украиной. Таганрог, его родина, рядом, а Ялта вообще украинская. Копнуть бы тут, копнуть! Копните, Рахиль Батьковна!

Рахиль смеялась и плакала, а потом достала папку с диссертацией, которая кусочками была опубликована и там, и сям. Она называлась «Драматургия Чехова как феномен онтологического дальновидения».

Она долго читала свое же сочинение, где-то удивляясь неожиданности еще молодых выводов, где-то смеясь над наивностью советского образования, которое оказывало себя в самых неожиданных местах.

За этим делом застал ее сын.

– Давай я тебе сделаю книгу, – сказал сын. – У Сережки, помнишь его, есть своя типография. Я думаю, он возьмет не больше «штуки».

Столько лет другой жизни. Но она продолжает каменеть перед такими словами, как «своя типография» или «свой магазин». И у кого? У мальчишки-двоечника, тройки для аттестата которого наскребали за всю десятилетку. А теперь ездит в какой-то невероятной машине, похожей сразу и на танк, и на лакированную ассенизационную бочку. Но это у нее дурное воображение. Как она говорит: я не могу привыкнуть к квадрату, который еще вчера был кругом. Началось все с квадратных кофейных чашек. К чему это она? А! У Сережи, владельца «бочки» своя типография.

– Ты меня слышишь, ма? Не беспокойся, я оплачу это дело.

Да, он ведь уже сказал «за штуку».

– Прости, я всегда забываю: «штука» – это сколько?

– Мама, не придурайся. Ты еще не столетняя бабка, чтоб не знать.

Она знает: это тысяча баксов. Она не столетняя бабка. Она ровно наполовину.

– У меня и сотни таких нет.

– Я же говорю: я оплачу. Я в состоянии. Эта цифра в моей голове вполне помещается. Она нормальная. Понимаешь? Я это знаю.

Она делит, множит, она переводит сумму в привычные ей деньги, в рубли, потом в гривны.

– За свой счет, мама, можно все.

Господи, зачем он это сказал?

Можно все. Когда печатали брошюрку ее кандидатской, это была награда за первое место в чеховском конкурсе. Боже, когда это было? Четверть века тому. Другая жизнь, другая жизнь... Без ностальгии. Без сожаления. Она старается жить в этом времени. Она знает, оно другого цвета, другого запаха, другого вкуса. Она называет его банановым временем. Этих фруктов завались на каждом углу, а яблок нет. Хотя яблони ломаются в садах, а бананы и близко не растут. Но не надо спорить с сыном. Если он так считает, пусть делает. Приехать в Москву с книжкой престижно.

Книгу сделали за месяц. Зелененькая, гладенькая. Шрифт на обложке под старину. Ну и что? Она и есть для этих мальчиков, владельцев газет, пароходов, старина. Разозлилась. Зачем она себя уговаривает? Она же в глубине души так не думает. У нее острый ум и острый язык, просто она не умеет ими пользоваться в банановом времени. Так считает ее университетская подруга Лилька, ведущий в Киеве менеджер некоей фирмы, которая – так она говорит сама – может все.

– Все – это что? – спросила Рахиль, когда та приехала в ее город на какой-то их сбор новых, умелых, ловких.

– Все – это статья. Состояться. Помнишь слоганы юности? Встань и иди. Иди и смотри. Пришла и говори. От зубов же отлетало, а внутрь не вошло. Я помогаю людям стать. Даю консультации. Учю.

Ей тогда показалось, что Лильке хотелось и ее поучить жить. И не то что она была упряма и не хотела новых знаний от успешных людей... Именно это и было. Не хотела. «Я сама знаю, что мне нужно».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.